





# СНЫ *и* СТРАХИ

ДМИТРИЙ БЫКОВ



Москва  
2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Б95

Художественное оформление серии *Е. Окольциной*

**Быков, Дмитрий Львович.**  
Б95 Сны и страхи : роман / Дмитрий Быков. — Москва :  
Эксмо, 2019. — 288 с.

ISBN 978-5-04-102060-6

Такого Быкова вы читать не привыкли: современная проза с оттенком мистики, фантастики и исторического эксперимента. Сборник, написанный в лучших традициях Стивена Кинга («Зеленая миля», «Сердца в Атлантиде»), рассказывает истории за гранью: вот скромный учитель из Новосибирской области борется с сектой, вербующей и похищающей детей; вот комиссар победившей в будущем Республики собирает Жалобную книгу из рассказов людей, приговоренных к смерти; вот американец с множественным расстройством личности находит свою возлюбленную — с аналогичным заболеванием.

Новые рассказы Дмитрия Быкова сопровождаются переизданием маленького романа «Икс», посвященного тайне Шолохова.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-102060-6 © Быков Д., 2019  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

# НЕВОЛЯ

— Я так думаю, что все это — рука Божья. — Он поднял руку, и казалось, что сквозь его растопыренные пальцы река вьется, как черная лента. — Дело Господне. Его воля.

*Трумен Капоте,  
«Самодельные гробики»*

5

Восьмиклассник Рогачев молчал и смотрел в парту, и историк Смирнов понимал, что проигрывает этот разговор вчистую. Он видел — точнее, ему хотелось так думать, — что Рогачев, как девочка в фильме, одержимая бесом, изо всех сил подает ему знаки: вытащи, вызволи меня, я не хочу проваливаться в это болото. Того и гляди на груди у него проступят красные буквы HELP. Но это казалось, этого не бывало и быть не могло. От Рогачева, смирновского любимца и главной его педагогической удачи, осталась одна оболочка, и вместо красных букв HELP на кисти правой руки у него были синие буквы В.О.Л.Я. И внутри у него была воля, с которой Смирнов договориться не мог.

— Ну хорошо, — зашел он с другого конца. — По средам нельзя в школу. Я это понял. Что можно по средам вместо школы?

Рогачев безмолвствовал.

— Поезда, — наконец сказал он.

— Что поезда?

— Смотреть, — выдавил Рогачев и после паузы добавил: — В десять пятнадцать абулакский и в одиннадцать пять новосибирский.

— Просто смотреть?

— Да. С моста.

Это был не мост, а переход над путями, но называли его так. Через Решетов проходило не так много поездов, да и вообще место было глуховатое даже по меркам Новосибирской области — населения тысяч двадцать, три школы, один кинотеатр. Смирнов, первый выпускник факультета экстремальной педагогики Московского педуниверситета, поехал туда не по своей воле. Он имел все возможности остаться дома, но создатель и декан факультета, боготворимый студенчеством медлительный человек с непредсказуемыми мотивировками и странными источниками информации, на распределении попросил: «Город Решетов. На годик, а?» «А что там?» — в полном недоумении поинтересовался Смирнов, но декан в своей манере отворотился к окну и, глядя на сырые кусты внутреннего двора, ответил с горькой гримасой: «Там... нехорошо».

— Сверху смотреть? — уточнил Смирнов.

Восьмиклассник поднял глаза. Он понял.

— Сверху.

— Ой, не только сверху, — сказал ему Смирнов с дружественной по возможности улыбкой. — Ой, не только.

Бросание камней в окна поездов было одним из немногих провинциальных развлечений, но интерес к этой звероватой забаве вспыхивал редко, обычно во времена, когда подростковая жестокость бог весть с чего достигала пиков. Последний такой пик был в двенадцатом, а самое дикое зверство расцвело под конец застоя. Тогда в школах доходили до такой изощренности, что на зоне удивились бы. Не стало разницы между элитной спецшколой и провинциальным спецПТУ: приставка «спец» подходила им одинаково. Вот тогда, рассказывали им в универе, травматизм в электричках дошел до рекорда: камни по проходящим поездам швыряли с необъяснимой злобой, двух девочек покалечили на всю жизнь, был громкий процесс. Смирнов не помнил, чтобы за последние недели в городе общались о подобных травмах, но всего он не знал и знать не мог.

Рогачев опять смотрел в парту.

— Ну хорошо. Допустим, что только смотреть. Допустим. Но зачем? Цель вообще какая?

— Просто смотреть. Как отходит.

— Представлять что-то при этом?

— Зачем представлять? — не понял Рогачев. — Стоять там и это...

Непонятное упражнение. Может, глядя на поезда сверху, они чувствуют себя как бы выше, не знаю, богами, которые распоряжаются миром? Но с «Волей» непонятно было все. Дело было не в отсутствии логики, она как раз была, — но логика эта была нечеловеческая, и всякий раз, сталкиваясь с ее проявлениями, Смирнов чувствовал ту же брезгливую оторопь, что при изучении каннибаль-

ских ритуалов. Эти люди очень хорошо понимали, что делали, но цель их была так ужасна, что в сознание не вмещалась, оно отдергивалось.

— А вообще «ВОЛЯ» что значит?

— Ворам Ответка, Лохам Яд, — отозвался Рогачев неожиданно легко. Видимо, это была дозволенная информация, а может, для своих имелась другая расшифровка.

— Почему ответка? — опешил Смирнов.

— Нормально ответка, слово такое. От Бога ответка. Они молятся, им в ответ помощь. Или помиловка.

— Никогда не слышал, — признался Смирнов. — Ответка — это же если ты оскорбил или напал, и тогда месть.

— Мечь? — переспросил Рогачев. — Мечь будет мщуха, еще мужичка.

— Как?!

— Мужичка, когда прилетает мужику. Еще причпок. Мужик ошибся, и его причпокнуло.

Это был новый лексикон, не тот, который изучали в универе, когда рассказывали про АУЕ. И на АУЕ это совершенно не было похоже. АУЕ был, собственно, пройденный этап — своего рода комсомол при благодати, расколовшийся, как всякий комсомол, из-за непомерных амбиций небитых лидеров; с «Волей» роднил их только неожиданный идиотизм расшифровки. Впрочем, Смирнов всегда подозревал, что «Арестантский Устав Един» было вариантом для внешних, а на самом деле это было ужасное междометие из того древнего языка, на котором разговаривали истинные местные жители. Эти местные давно ушли в подполье, но держали все под контро-



лем. Он никогда их не видел, представлял смутно, но всегда ощущал их присутствие. Это они собирались иногда на опушках, жгли костры, пару раз он видел их сходки на даче, когда ходил за грибами и вышел вдруг к незнакомой опушке возле поселка со странным названием Серпы; тогда он почувствовал что-то и затаился в траве, но один из звероподобных, сидевших у костра, стал глядеть в его сторону белыми пятнами глаз, и маленький Смирнов побежал прочь, никогда в жизни он не бегал так быстро. Если бы захотели, они, конечно, остановили бы его. Окраины Решетова были похожи на ту опушку, да все окраины были на нее похожи: ржавый хлам, почему-то обязательно дырявые сапоги, какое-то тряпье, снятое с трупа, то есть трупье. Теперь, видимо, они выходили из подполья, почуяв, что зашаталась власть тех захватчиков, которые их туда загнали. И в самом деле, уже ясно было, что у нынешних все посыпалось, но те, которые вылезут из погребов, будут хуже. На самом деле они и не прекращали тут править. На поверхности было иго, цари, большевики, а в местах вроде Решетова, на опушках вроде Серпов всегда была их власть.

— А Громов вам чем помешал? — решился Смирнов на главный вопрос. Громов, единственный его приятель в решетовской школе номер семнадцать, хотя всего их было две и вторая была номер пять, — внезапно уехал на прошлой неделе. Собрался за день и исчез вместе со старухой матерью. Смирнову он успел только сказать, что к нему подошли вечером и очень убедительно сказали смываться, иначе ни за что не отвечают.

— Видел он, — неохотно ответил Рогачев.

— Что видел?

— Как жарили.

— Кого жарили?

— Никого, — засмеялся Рогачев. — Вы чего, Петрович? Просто жарили.

Петровичем Смирнова называли только ближайšie, пятеро из кружка. Азы экстремальной педагогики: на новом месте прежде всего обзаводись кружком помощников, тайными агентами, через которых сможешь узнавать про настроения.

— Нет, постой. Что значит — просто жарили?

— Ну как жарят. Обычно так.

«Думали туман», вспомнилось Рогачеву. Кто же те очкарики, которые рулят здесь?

— Подожди, Леш. И жрали потом?

— Не понимаете вы, — сказал Рогачев сочувственно. — Это вообще не про то.

Он замкнулся снова, и Смирнов опять почувствовал тошную беспомощность. Он пару раз прочел про себя мантру, рекомендованную деканом как раз для таких случаев, — «Думал дурак одурачить, думал слепой ослепить, думал тупой обозначить, думал немой завопить», — и сработало: перед ним был восьмиклассник, только восьмиклассник, мальчик из проблемной семьи, который ему верил, который к нему тянулся, которого он завербовал тогда и завербует сейчас.

— Алексей, — сказал он серьезно и поглядел на него тем взглядом, который выработал давно, взглядом, которому всех их как следует учили. — Кто у вас старшие?

Но Рогачев взглянул на него очень прямо своими зелеными — не может быть, ведь у него карие? —

ярко-зелеными с желтизной глазами и скривил рот в очень неприятной улыбке.

— Петрович, — сказал он сипло. — Вы ничего не понимаете вообще. Вы нормальный, но ничего этого не надо.

— Что значит нормальный? — Смирнов знал, что цепляться надо к самому нейтральному слову и от него постепенно пробираться к непонятному.

— Нормальный. Сносный. Губной. — Рогачев смотрел прямо и твердо. — Но вам это не надо. Нет никаких старших, младших, этого всякого. Там воля, ясно? Просто воля. Была ваша воля, стала наша. И лучше бы вы тоже ехали.

— Куда ехали?

— Это я не знаю. Это уже ваша воля. Я пока еще могу что-то, и еще пара недель у вас, может, есть. Но потом март, а в марте я уже ничего не это. Уже я не буду это мочь.

У них с Рогачевым в самом деле были особые отношения, этот проблемный мальчик был явно талантлив, он чувствовал историю, как охотник чует дичь, у него был прирожденный комплексный, системный подход, он мгновенно выделял главные факторы, догадывался о темной связи экономики, ландшафта и местного фольклора, у него была исключительная память на даты, Смирнов сразу выделил его и из безнадежно отстающего сделал отличником, потому что учил не зубрить, а думать; это был его золотой резерв, прочие в кружке никакими талантами не обладали, просто любили нового учителя и отдыхали душой на его веселых уроках. Но теперь Смирнов понимал, что Рогачева засасывает темная топь, а он держит

его за руку и не удержит; понимал он и то, что Рогачев мучается, но обречен будет его предать, и если сейчас Смирнов отступится, то это будет еще полбеды. А если продолжит приставать и тащить, тогда его придется предать громко, гробно. Гробно? Он не знал этого слова, оно как-то вдруг подумалось само, он начинал уже думать на ужасном, заразном языке воли, и Рогачев, словно почувствовав это, вдруг вскинул на него ядовито-зеленые глаза.

— Понял? — спросил он почти весело. — Всосал, да?

В кабинете уже темнело, и Смирнов, весь дрожа, включил свет.

— Чего это ты такой довольный, Леша? — спросил он, призвав на помощь всю свою насмешливость. Но Рогачев уже опять смотрел в парту.

Свет придал Смирнову уверенности. Никто ему тут ничего не сделает, и его кое-чему учили.

— Леш, — сказал он тихо. Сейчас надо было говорить очень тихо, надо было пугать, давить. — А где Маша Разумова?

Он попал и сразу это почувствовал. Рогачев поднял глаза, тут же опустил голову и как-то сжался.

— Это вы ее? — нажал Смирнов.

— Что мы ее?

— Ты знаешь что.

— Я-то знаю, — сказал Рогачев. — А вы не знаете.

Смирнов действительно не знал, и атака его, кажется, захлебнулась. Маша Разумова пропала на три дня. Три дня купеческая дочь Наташа пропала. Потом нашлась, сидела утром в школьном дворе, вся сжавшись, скукожившись, — откуда

пришла, неясно, была метель, замела следы, и никто не знал, сколько она так просидела. Отвечала на все расспросы, что была у подруги. У какой подруги? У такой. Была очень бледна, под глазами жуткие синяки, какие бывают не просто от бессонницы, а от травмы; мало что видел Смирнов страшней ее лица и дал слабину — не стал спрашивать, хотя этому тоже учили. Дома ее сильно отлупили, утром отец сам повел ее в школу, она вдруг на светофоре вырвалась, побежала, и поминай как звали. Весь город подняли на уши, искали везде, да куда там. Отец даже не запил, сидел, глядя в стену и периодически ударяясь об нее лбом.

— Но это воля? — спросил Смирнов.

— Ее воля, а то, — сказал Рогачев и опять отвратительно усмехнулся.

— Рогачев, — сказал историк очень решительно. По идее сейчас его следовало взять за подбородок, взять решительно, с силой, чтобы он почувствовал: игрушки кончились, этот учитель правил не соблюдает и может с ним сделать все. Но Смирнов этого не сделал, потому что тоже чувствовал: правила кончились, и если Рогачев сейчас сдерживается, то надолго его не хватит. Их тоже чему-то учили, пусть не с сентября, пусть декан, как всегда, поторопился, но с ноября точно началось что-то нехорошее, школу прогуливали в открытую, многие не ночевали дома, и родители не знали, что думать. Это было не пьянство, не спайсы, от этого волосы шевелились на голове.

— Рогачев, она там же, где Ашкерова? — спросил Смирнов очень твердо.

— Ашкерова? — переспросил Рогачев. На этот раз, кажется, он удивился искренне. — Чево Ашкерова? Она с шофером уехала.

— С каким шофером?

— С дальнобойщиком. Ашкерова всегда тронутая была. Нет, Петрович, Маша Разумова не там. Маша Разумова там, где никакой шофер не доедет.

— Она жива?

— Она так жива, как никакая Ашкерова не жива. Можно сказать, живее всех живых. Я даже думаю, Петрович, что хорошо бы вы были так живы, как Маша Разумова.

Это что же, она у них теперь вроде хлыстовской богородицы? Взята в общину? Жена главного растлителя? Но все это было мимо, он сам понимал.

— Леша. А меня могут взять в волю? Посмотри, я тебя взял в кружок. У тебя началась приличная жизнь. Ты в авторитете был. Можешь ты сделать, чтобы я попал в волю? Хоть раз? Хоть, не знаю, постоять на поезда посмотреть?

— Смотрите, что ж, — пожал плечами Рогачев. — Только мы не там смотрим. Не на том мосту.

— А на каком?

— Да на любом. Ну посмотрите вы, — сказал он равнодушно. — Ну сходите. А дальше?

— Как скажете. Но мне хочется понять.

— Не надо вам понимать, — сказал Рогачев. — Тут не понимать надо. Вот вы историк, да? Вы думаете, тут история. А тут никакая не история, была и нет, все. Тут нечего историку понимать. Если б вы были вольник, тогда пожалуйста. — И он усмехнулся во все уже нехорошо.

— Что значит вольник?

— Ничего не значит. Это я сейчас придумал. История — историк, воля — вольник. Пойду я, пора мне, Петрович.

— Пора тебе или нет, Леша, это я сейчас решаю, извини.

— Да нет, Петрович, — сказал Леша и встал. — Это моя воля. Вы подумайте, что я сказал. Неделю еще, но это самое большое. И вы это, не разговаривайте много. Хотя уже какая разница.

И он не спеша, что было всего невыносимей, пошел к белой потрескавшейся двери и вышел за эту дверь, не обернувшись, ничего больше не сказав; и Смирнов проводил его беспомощным взглядом, больше всего боясь, что ему теперь тоже предстоит выходить на улицу и одному по ней идти. Он почему-то надеялся, что они пойдут вместе.

Он оглянулся и увидел, что на доске было ярко написано:

«В.О.Л.Я»

Он не писал, и Рогачев не писал, и этой надписи не было. Или он ее не видел? Разумеется, она была, и он ее не видел. Или он сам написал это машинально, когда Рогачев дал ему дурацкую расшифровку. Конечно, он написал сам. Он хотел посмеяться. Она не могла появиться сама, в такие вещи он покамест не верил. Конечно, он сам, и он сам так писал «Л», это была его рука и его воля.

Почему-то ему страшно было смотреть на свое отражение в совсем уже темном окне, и страшно было гасить свет. Но он заканчивал отделение экстремальной педагогики, у него был опыт практики в Дагестане, он кое-что умел. И у него хватило сил